

Саломат Вафо

РАССКАЗЫ

Саломат Вафо — писательница и тележурналист. Работает на Узбекском телевидении. Стала известной после вышедшего в 2004 году в Ташкенте на узбекском языке романа “Таинственное государство” — по сути первого романа на историческую тему в узбекской литературе, написанного женщиной-писательницей, к тому же вызвавшего немалую дискуссию. Она же — автор сборников рассказов “Фарида” (1991), “Женщина, которая ищет себя” (1995), “Ангел душ” (2002), “9/1” (на английском языке, 2007), романа “Воспоминания о заблуждающейся женщине”. Живет в Ташкенте.

ГОРА БУТАН

Проснувшись рано утром, в утренней дымке, можно увидеть вдали за дувалом гору. Ее называют “Гора Бутан”, или иначе — гора, перенесенная из других мест.

Вот и я, как эта гора, нездешняя, из других мест пожаловала сюда. И хотя по разным причинам приезжала неоднократно, так и осталась чужой.

Я живу в большом городе. Известно, — в тесноте, суете, вечно сталкиваясь с интересами других людей, устанешь, издергаешься. И вдруг попадешь сюда, где тишина, покой, безмятежность. Настоящее чудо!

Как она еще существует, эта гора, как она — каменная — привлекает и объединяет людей? Думаешь об этом и сжимается сердце.

А вокруг — широкий простор, царство ветров. И еще — верблюдов! Их тут целые стада. С обычным своим надменным видом пасутся в зарослях камыша, на прохожих путников, на

проезжающие машины поглядывают с горделивым равнодушием. И проходят караваном, продолжая свой путь. Когда я увидела их впервые, так и подумала: верблюды — это самые последние на земле представители вымерших динозавров. Только верблюды, здесь, в царстве вечных ветров, мне казались картинками давно прошедших, исчезнувших времен, чудом сохранившимися от соприкосновения с беспокойным родом человеческим.

И люди, впервые попавшие сюда, впервые сталкивались лицом к лицу с первозданной дикостью, с начальной своей порой и с истоками.

Великое молчание. Оно зовет, втягивает в себя. Ночью здесь безраздельно господствуют ветра — перебирают сухие колючие травы, потихоньку засыпают песком развалины древних строений. Природа живет сама по себе и не хочет встречи с человеком. Вдали, в сердце пустыни, словно кто-то вздыхает...

Место на много тысяч метров выше уровня долины. Может быть, именно потому оно обязывает человека мыслить возвышенно?

Само величие горы Бутан спрашивает: а не здесь ли, в спорах дня и ночи, рождается время?

Помню, как в первый раз я решила остаться на ночь в пустыне. Гора Бутан казалась отсюда огромной опрокинутой пиалой — повторением небосвода, усыпанного звездами.

Издали до слуха доходил шелест камышовых зарослей да вой голодного шакала.

Какие-то страхи заползли в слабую душу. Мысли о смерти... Как спастись от нее, как уберечься? Да, жизнь утомляет, она бесполезна, но... как подготовиться к уходу из нее? К этому великому падению?

Да, может случиться так, что ты останешься в этих безлюдных просторах, лишь бугорком земли напоминая о себе...

Горечь этих мыслей бросила меня в бурю рыданий. Безжалостна ты, жизнь! Чтобы вырваться из водоворота ужаса, я

готова была весь этот мир, существующий уже множество тысяч лет, отвергнуть, отдать. Отдать весь, до последней частицы.

О, Создатель, каким же Ты сотворил человека — слабым и переменчивым, способным к предательству.

Род человеческий считается вершиной всего сущего, но перед матерью-природой он слаб. Ты человек — лишь частица, крохотная пылинка природы... Да, хотелось мне здесь, перед ликом природы, спасти, уберечь свою душу. Не смогла я этого, не смогла.

Моя встреча с царством ветров обернулась великой бедой.

Я встретила человека и отдала ему, по доброй воле, свое доверие, свою силу, свою душу.

Он жил здесь, вблизи священных могил, служил им. Помогал паломникам, прибывавшим издалека. Человек он был необыкновенный. Я называла его “кохин” — так зовут у нас прорицателей, провидцев, кудесников.

Мой кохин был полновластным правителем царства ветров. Каждое утро поднимался на гору, чтобы вознести там молитву.

Какой смысл был в этом? Ведь Бог слышит и видит нас повсюду, а еще — есть Бог и в сердце...

Он показывал мне свое царство день за днем. Знакомил с ним...

По словам кохина, гору Бутан перенесли сюда из Мекки четыре ангела, подняв за четыре конца, словно постель. И останется она здесь до Дня светопреставления, до Страшного суда...

Вдвоем мы каждое утро, до восхода солнца, поднимались на гору. И вот что меня удивляло: без солнечного света окрестности казались одноцветно-темными, тусклыми, воздух был особенно холодным, развалины древних строений — особенно неприглядными, пейзаж — диким и странным, словно в каком-нибудь заполярном Оймяконе...

Достигнув вершины, я взяла в привычку долго и пристально взглядываться вдаль, видя всегда одни и те же бескрайние

заросли камыша, развалины крепости, извилистые, точно следы змей, тропинки...

Современных динозавров — верблюдов — не было видно, наверно, отдыхали где-нибудь в укромном месте.

Потом я покорно, словно прирученное животное, следовала за кохином. Мы навещали гробницы большие и малые, поклонялись им. Кохин нараспев читал молитвы. Его голос, юный, звучный, звенел в давно опустевших кельях, нарушая вековую тишину. Воздух становился теплее, казалось, что вот-вот великие, веками спавшие в могилах, поднимутся из-под своих надгробий, встанут, покачиваясь, распрямляя стан.

Я не понимала многих слов, не могла задуматься, плакала...

А кохин... Ох, кохин...

Он, казалось, был слеп и глух в эти минуты, да, совсем слеп, опьяненный мелодией. Он покачивался, извивался, точно змея, наслаждающаяся своей колдовской властью. О Боже, мне представилось, что он в этот миг был похож на моего сына... Когда тот младенцем сосал грудь, великий покой и блаженство виделись в его личике, лоб испещряли капельки пота. Щеки от ручейков моего белого молока сверкали, как у статуй индийских богов, изваянных из мрамора.

В лице кохина проступала тайная сила молитвы: словно кающийся грешник он касался лбом камня, снова и снова отбивая поклоны. Голос управлял всем его существом, звал за собой, звал вырваться из кельи, оставить позади чудесную гору, взлететь. Он был готов к этому...

Лицо кохина... Оно было прекрасно — что там земная и ангельская красота!

Что значит “прекрасно”, если речь идет о мужчине? О горе мое...

В его лице были сила и мужество. Я слышала, что сюда, в эти безлюдные места, в царство вечных ветров, многие женщины приезжали издалека посмотреть на него, послушать его чтение Корана. И когда я смотрела на него — светлое лицо, нос с

горбинкой, сжатые губы, то думала, что и сама сюда приехала ради этого человека.

О господи, какова доля моя?!

Все у меня было — родные места, свой дом. Как говорится, человеком стала. Добилась, чего хотела... Какая обида погнала меня? Откуда явилась я, кого увидела?..

Злосчастье мое — кохин... Три, четыре сотни верст проехать, чтобы только увидеть этого человека...

Казалось, великие плотские вожеления уже оставили меня, мужчины давно не интересовали... Но для кого звучат здесь молитвы, здесь, вдали от людей? Ради кого возносит молитвы кохин?

Иногда от этой монотонной, не знающей конца молитвы, от вида изможденного лица кохина, от этой беспредельной тишины болезненно сжималось сердце, привычное к шуму и грохоту большого города. И я уходила в ту сторону, куда опускалось солнце на закате, уходила в другие горы.

С высоты отчетливо были видны развалины, высотой в два этажа, рвы, окружавшие стены, было видно и русло реки, из которой эти рвы заполнялись водой: ее берега не осыпались, сохранились.

Это была крепость девушек Бакра.

Высокие стены, сторожевые башни теперь сильно разрушены. Повсюду валялись обломки обожженной глины, черепки керамики.

Однажды мне захотелось набрать этих черепков, а еще — пересчитать укрытия в крепости: их оказалось двадцать пять.

Шли века, а они все стояли, словно поклялись небу стоять.

Я смотрела на крепость, как на воплощенную легенду... Вон там, на втором этаже, должно быть, находился зал приемов. Царевна сидела на троне, принимая жалобы и прошения подданных.

Девушки-всадницы располагались вокруг усадьбы с садами и загонами, в которых содержались рычащие львы. Всадницы,

похлестывая коней, возвращались из похода, привозили головы врагов.

Царство девушек Бакра процветало, когда какой-то кровожадный дэв напал на него и обратил в руины. Сорок девушек-царевен взял в жены....

Вот так мне все это вообразилось, представилось с необычайной ясностью. Так что, когда почуяла запах дыма, невольно подумала: не собираются ли позавтракать девушки Бакра? И тут вдруг слышу: “В этих местах нельзя бродить одной!” Голос кохина.

Оглядываюсь. Вот он, задыхается, лицо в поту, в глазах тревога...

Боже мой, да это приятнее, чем все улады тысячелетнего рая! Он искал меня, беспокоился, спешил изо всех сил. Как это мне понравилось! Он наставлял меня, просил больше так не поступать. Я слушала его вполуха, улыбалась.

Прощайте девушки Бакра! Прощайте, в вечности исчезнувшие, свободолюбивые! Прощайте, мои бессмертные думы. Я еще остаюсь в будущем...

Какое здоровье у городских? Я — словно комнатный цветок — не выдержала жизни без удобств. Простудилась, слегла. И еще — меня подкосила безнадежность.

В последнее время кохин стал другим: все свое время отдавал приехавшим на поклонение святым могилам, с утра до вечера читал для них Коран. Или — не спускался весь день с горы, а спустившись — не заглядывал ко мне. Я могла только видеть в окно его прямой стан, его белую одежду, я могла только слышать то вблизи, то издали его голос — и это умножало мою боль.

И вот еще что... Появилась тут одна молоденькая девушка. За кохином следовала как тень, без конца читала что-то вместе с ним. Вот тогда-то я и поняла свою ошибку. Приехав сюда, я должна была проникнуться страстной верой, интересоваться тем, что интересовало его — или хотя бы сделать вид, что это так.

“Ум раба приходит после полудня” — то есть, как говорится:

задним умом человек крепок.

То ли из особой любезности, то ли желая отдалить от себя, он теперь не звал меня подниматься на гору. Теперь меня будил на рассвете его издали доносящийся голос... Голос — как пение птицы Феникс. Голос, заставлявший рыдать меня безутешно.

Я лежала без сил, с тоской думая о том, как же я буду жить дальше.

В детстве я была очень слабой, хилой, оттого другие дети не любили играть со мной. Часто мне от них и доставалось... Я жила мечтой: однажды найдется смелый богатырь, прилетит на крылатом коне и увезет меня с собой...

Потом была жизнь: встречались в ней и смельчаки, и трусы; сменяли друг друга и добро, и зло; бывало то легко, то трудно. Но мечты мои не исполнялись. Хотела полюбить безумно, самозабвенно... Не получилось.

Иные мне завидуют: чего не хватает? Есть недостаток, есть любимая профессия. Но здесь, в этом царстве вечных ветров, быть может, горстка пыли от меня останется. Он прогонит меня, толкнув в грудь: "Уходи!".

Ну вот, встретились мы. Иные, разные у нас убеждения, моральные устои, дела жизни. У него — только вера. Препграда между нами неодолима.

Вечереет. Ночь ложится — словно верблюд опускается на колени. Смотрю на сокровища гор, давят черные мысли. Где вы, заветные рассветы, те часы, которые мы с кохином проводили вместе, поклоняясь святыням? Где потоки моих слез, омывающие душу? Неужели тем дням пришел конец? Неужели они только в памяти будут жить? А ведь мне казалось, что наши встречи у древних усыпальниц будут продолжаться вечно...

Если я пойду туда снова, может быть, набреду на те самые дни?

Душа моя, воображение мое не могли на этот раз вместить все — верблюдов этих мест, кохина, который читает Коран для других.

Кохин рассказывал мне, что он учился в одном из далеких российских городов, тяжело заболел там и десять лет провел в больницах. Выздоровел лишь тогда, когда решился отречься от мира и посвятить себя служению святыням. Еще он делился со мной мыслями о том, что это значит — быть на земле человеком.

И почему-то во мне пробуждались надежды...

Потому ли, что некоторые наши взгляды сходились, и мы понимали друг друга, и, кажется, могли бы быть счастливы вместе?

Короче — такой была история правителя царства вечных ветров.

Правитель этот, даже не спрашивающий о состоянии больной женщины, для нее — целый мир, жить без него невозможно.

Между тем кохин превзошел самого себя — видимо, давал задания той девушке, оттого они и сидели вдвоем над одной книгой. И паломникам подолгу рассказывал что-то.

Потом вообще забыл о моем существовании.

Вот так и умру безвестно. Испугавшись этой мысли, я стала потихоньку вылезать из своей каморки... Почему-то мысли о возможной смерти пробуждали мне память о сыне...

Неужели я так и погибну, вдалеке, одна? Ведь я опять стала такой, как была в первые дни после приезда, — не так быстро вспыхивала, волновалась. Однако знала одно — вся моя будущая судьба зависит от единственного слова кохина...

Ранняя весна вступала в свои права.

Безжизненные серые просторы зазеленели, согретые солнцем. Вдали, у линии горизонта, исполняли свои дикие танцы верблюды, опьяненные весной, оттуда доносились хриплые их голоса.

На скалах появилось множество птиц, они летели, чирикают и щебечут, тащили в клювах соломинки и веточки, чтобы соорудить гнезда.

В царстве ветров пробудилось все... Даже голос кохина,

читающего молитвы, казалось, доносился громче прежнего.

Однако... Хотя пустыня и пробудилась, хотя пробудились и пески, и травы, и камни, я — не пробудилась, не смогла пробудиться.

Паломники должны приносить жертвы. Каждый день поблизости резали овец, каждый день доносился запах крови и протухающей требухи, вызывая во мне брезгливое отвращение к еде. Я чуть с ума не сошла от этого. Увижу кровь — и вся начинаю трястись, мерещатся целые отары безголовых овец, пробегающих мимо меня, слышатся предсмертные хрипы.

Люди, люди, до чего вы безжалостны! У меня душа болела за этих бессловесных, кротких существ, неизвестно за какую вину приносимых в жертву без счета.

Да еще однажды случилось так...

Овце связывали ноги, готовили к закланию — неведомо как она сумела вырваться и умчалась... Гонялись за ней долго, наконец, схватили — загнанную, с висящим изо рта языком. Зарезали... а в лоне ее оказался ягненок.

Ночами в черном доме, где проживал кохин, светильник не угасал.

Сквозь щели в дверях можно было разглядеть фигуру, склоненную над книгой. Порой слышались вздохи. У меня только и было дело — наблюдать за ним. Иногда я видела, как он, таясь от паломников, уходил зажигать каменные светильники на надгробьях и сидел там часами, с благоговением наблюдая, как трепещут бледные огоньки.

Как-то раз, беседуя со мной, он сказал, что каменные светильники велено зажигать. Кем велено, когда — я не спрашивала, для меня его слово было законом. Ведь не зря я его называла кохином — кудесником...

Я страдала, задыхалась от его равнодушия, тоске моей было тесно в доме, я уходила к крепости, бродила среди руин. Под их сводами собирала камни обожженной глины, черепки керамики. Однажды даже нашла монету, похоже, из золота, с изображением

женщины.

Местные жители предупреждали меня, пугали — будто бы в развалинах обитает белый волк. Однако волк не встретился мне ни разу.

Мне нравились сторожевые башни: я взбиралась на самые высокие из них.

Сидела, глядя в ту сторону, где простирается царство вечных ветров. Издали черные дома выглядели до смешного маленькими. Можно было различить и струйки дыма, поднимающегося в небеса, и людей, идущих поклониться святыням. Иногда я замечала кохина... Стоя где-нибудь на скале, он держал руку козырьком над глазами и смотрел куда-то.

Вблизи руин появлялись стада верблюдов, и мне казалось: не собрались ли девушки Бакра, царевны Бакр-Калы в поход? Наверное, собрались!

И снова я пересчитывала полуразрушенные башни, возле двадцать пятой — отдыхала. Будь я писателем, сколько могла бы написать об этой крепости. В моем воображении — она жила, действовала. В ее ворота въезжали, из них выезжали вооруженные всадницы, кони их ржали, бряцало оружие. В кузницах слышался перестук молотов. И еще — гомон толпы, смех, восклицания...

А это что — во сне или наяву?

Поднимаю голову,— прямо надо мной, точно гора, нависает огромный верблюд. Глаза его выпучены, изо рта каплет пена, он топчется на месте, он бешено зол.

Внутреннее чувство подсказывает мне: спастись, бежать! Спастись, выжить — не в этом ли суть жизни? И я помчалась что было сил, теряя собранные мной черепки. Их с хрустом раздавливало погнавшееся за мною животное...

Говорят, даже если во сне верблюд за тобой гонится, это знак неминуемой гибели...

Если умру? По-крайней мере кровь моя прольется невдалеке

от него, на мой гроб будут глядеть его святые очи.

Я вбежала в облюбованную мною башню, попыталась взобраться по стене повыше — не получилось. Но вот тогда, тогда... я и увидела кохина. Он бежал в белой одежде, с палкой в руке, летел, как ветер. Он догнал верблюда, ударил его...

Тот, неуклюже топоча, бросился наутек.

А я — кинулась на грудь спасителю. Все внутри у меня дрожало, сердце стучало, как молот. Я задыхалась. Он гладил мое лицо, волосы, успокаивал:

— Не бойся! С тобой ничего не случилось! Не бойся никогда, ведь я рядом. Верблюды по весне злы на женщин, он тебя издали высмотрел...

— Спасибо, спасибо... — повторяла я.

— Этот край, эта крепость — все им принадлежит, верблюдам. Они здесь зимуют. Ну-ка, посмотри на меня, — он на мгновение замолк, взглянул на меня, потом в землю и снова заговорил:

— Откуда ты явилась, зачем? Чтоб от всего отказаться, я потратил пятнадцать лет своей жизни. И опять я наедине с женщиной. Я разум свой потерял, безумным сделался — с тобой. Если есть у тебя милосердие, пожалей, уезжай отсюда! Если снова в себе все менять, я пропаду, исчезну... Я тоже не из железа, и у меня есть сердце. Ты не этого края человек, у тебя другие дороги.

Я уезжала.

Плачущие — оставались позади девушки Бакра, верблюды, камышовые заросли...

Пробуждающаяся пустыня пела песнь о тысячелетних разлуках и изменах. И я думала: в чем суть жизни человека? Разлуки. Потери... Меня терзали воспоминания — о тропах в пустыне, по которым бродили вместе, об этих мгновениях, перевернувших всю мою жизнь, о черном доме, в котором осталась жить память сердца.

Как теперь я буду жить? Куда повернет моя судьба? Уезжай из чужого края — так произнес кохин.

О мир мой...

О мой духовный наставник шейх Саньон¹. Я в двух мирах: во вчера и сегодня...

Бесцветная пустыня, пески ползут печально, покачиваются головки камышей.

Но четыре ангела, подняв за четыре ее конца, словно постель, несут гору Бутан вслед за мною.

*Перевод Зои Тумановой
Опубликовано в журнале:
«Дружба Народов» 2010, №1*

¹ Шейх Саньон известен тем, что ради любви своей отказался от веры предков, от ислама.

БЕЗЫМЯННЫЙ КОРАБЛЬ

*Памяти моего учителя
Адыла Якубова*

1.

Выходя из самолета, я чувствовала себя так, будто меня рывком подняли с постели, где я пролежала сто лет, страдая от безымянной ноющей боли, изгрызающей все внутри. По воле судьбы, а жила я отсюда совсем далеко, мне не удалось купить билет на прямой рейс в мой родной город, его надо было заказывать заранее, но я, как всегда, опоздала... В общем, пришлось приземлиться в маленьком городке, недалеко от Арала и не совсем еще дома.

Время позднее, в аэропорту народу почти не было, лишь со второго этажа здания, откуда струился тусклый ресторанный свет, доносились веселые голоса.

Заметив меня и почувствовав, что я не знаю, куда идти, тут же подскочили леваки и подняли гвалт.

— Девушка, куда ехать?

— Поехали, поехали, девушка! Могу перевезти даже через Арал.

— Со мной хоть на край света...

— Сколько дадите, столько и дадите... По совести.

— Видит Аллах, это не дорого! Вы даже представить себе не можете, сколько дают настоящие туристы! О таких деньгах даже подумать страшно.

Одинокие охотники за впечатлениями с ленивым любопытством следили за ними, быть может, подбирая и для себя подходящий вариант. Наконец, разъехались и они, я же все

еще оставалась.

Несколько скучающих таксистов, одетых заметно хуже других, отошли в сторону, оттесненные более уверенными в себе конкурентами.

Молчаливые женщины, наверное, еще молодые, замотанные в многочисленные платки, с руками, не знающими никаких маникюров, равнодушно стояли возле своих тележек с жареными пирожками, тоже смотрели на меня и тоже надеялись сделать свой бизнес.

Уфф... Как еще далеко до Урта-куля, — думала я, глядя на них. Угораздило же меня родиться на таком краю земли! В темнотище плестись одной через пустыню? А потом еще искать паром через реку... А потом еще обходить озеро... А потом еще от Урта-куля до аула...

— Соглашайтесь, девушка! Честное слово, соглашайтесь...

— Отстаньте. Я вам не турист...

— Но ведь не из здешних....

— Что вы говорите! Я родилась здесь.

— На планете шесть миллиардов человек. И все они где-нибудь родились.

— Ну и что?

— Вы подумайте сами: одной, в темноте... Заблудитесь. Пустыня же, ни воды, ни пищи, голодные шакалы рыщут вокруг, только вас и дожидаются. Хорошенько подумайте.

Конечно, я так и рассчитывала, что сяду здесь в машину, но, услышав цену, потеряла дар речи.

Оставалось одно — обосноваться в гостинице, чтобы выйти в четыре или в пять утра, когда рассветет. Тогда, возможно, в семь или в восемь я буду дома.

2.

Узкий коридор довел меня до комнаты, где крепко засел затхлый запах всех прошлых ее постояльцев. Она была похожа на

ободранный детский картонный домик, в котором буквально все, к чему необходимо было прикоснуться, издавало гамму неповторимых звуков.

Подошла к окну, раздвинула занавески.

Стекла позванивали, и в щелях между ними и рамой тоскливо посвистывало.

Из темноты ночи на меня смотрел степной страх.

Разболтанная щеколда отпустила окно почти сразу. И тут же — в-ж-ж, в-ж-ж! — будто бы целый век они только и ждали, в освещенную комнату ворвалось облако комаров.

Тысяча проклятий! И это называется гостиница! Да еще и дерут не меньше таксистов. Подумать только, у них, оказывается, есть горячая вода! Чтоб вы здесь сварились, в этой своей горячей воде.

Но надо что-то сделать. Поужинать? В расстроенных чувствах спускаюсь вниз, где, если поверить надписи, ждет меня еще и некий “Ресторан”. Так и есть — тускло, грязно. И не оттого, что за ним не следят, не убирают, не моют, не проводят “санитарных дней” — отчего-то совсем иного, необъяснимого, вечного. Сам местный воздух, что ли, грязнит и старит все эти столы, тарелки, вилки? Стоячий воздух, которому тысячи лет...

Люди весело ели, судя по запаху, жареные мясо и рыбу, ели торопливо и не переставая смеяться.

Голод, конечно, не тетка, но вид этой публики как-то сразу отвратил меня и от мяса, и от рыбы.

Только кофе. Да, только кофе и сладости...

3.

За столом напротив меня уже сидели трое мужчин, похожих то ли на фермеров, то ли на работников рыболовецкого совхоза, приехавших сюда по делам, успешно их завершивших и теперь обмывавших. Впрочем, может быть, и не завершивших, провалившихся, но все равно — обмывавших...

Несколько породистых упитанных иностранцев, которые наверняка приехали “по вопросам озеленения пустынных земель” — а что еще им здесь делать? — вытянув бледные жилистые ноги в коротких штанах-бермудах, что-то громко обсуждали. Похоже, совсем не озеленение.

Ничуть не скрываясь, фермеры-рыболовы тут же оставились на меня, одинокую и, по их мнению, ресторанный женщину. Вот-вот кто-нибудь из них поднимется и, улыбаясь... Слава Аллаху, принесли кофе. Уф-ф!.. А ведь запросто могли бы сказать, что у них кончилась вода или кофе сегодня не завезли. Я с наслаждением вдохнула горьковатый его аромат.

Да и к фермерам, переключив на себя их взгляды, подсели две девочки. Надо же, и с этим мне повезло, как с кофе.

Знойные девочки. Одна — блондинка с синими глазами. Телевизионный стандарт. Другая — с длинными иссиня-черными волосами, узкоглазая, несомненно, из местных.

Неистребима древнейшая профессия — на краю земли выживет, лишь бы каким-нибудь фермерам-рыбоводам не сделалось скучно и в самых пустынных местах. А может, всего лишь возможность слегка заработать — все-таки профессия... Другую здесь и не приобрести.

Вспомнила шоферюг в аэропорту:

— Куда ехать?

— Со мной хоть на край света...

— Сколько дадите, столько и дадите...

И чем же от них отличаются рыбаки-фермеры? Вот и они уже счастливы.

Вдобавок к производственным успехам еще и мужские удачи.

Кажется, в этом году в близлежащих озерах много рыбы. Уверена, если с производственными успехами я не ошиблась, эти красотки хорошенько их оберут. Впрочем, ничего. Только на пользу. Приедут домой, покричат, погоняют своих жен и детей, сорвут на них злость, а потом станут вкалывать еще круче, лишь бы снова приехать в эту дыру.

Вот и иностранцы, позавидовав рыбакам, принялись посматривать по сторонам. Конечно же, и на меня. Похоже, уже хотят что-то сказать. Интересно, в смысле слов, приходящих на их иностранный ум, они хоть чем-нибудь отличаются от наших отечественных рыбных командировочных?

Господи, о чем это я...

И как хорошо было в самолете, где можно ни с кем не разговаривать. За иллюминатором искрилось серебро летучих облаков, плоско тянущихся до горизонта, так плоско, наверное, где-то лежат и белые плоскости антарктических льдин. Почти по самому курсу плыла луна, излучая вечное молочное сияние — мамино, вскормившее меня нежное молоко.

Задумавшиеся льдины Антарктиды и улыбающаяся луна время от времени взвихривались пенными клубами, и тогда в их очертаниях можно было легко разглядеть высокие белоснежные минареты, что обязательно стоят возле наших неярких мусульманских кладбищ.

До этого мне казалось, что сама оболочка самолета надежно ограждает тебя от всяких болей и невзгод, от неожиданно догоняющих сообщений, от вестей вроде той, что накануне я получила телефонным звонком: умерла мама.

Но самолет хотя летел и летел среди этого царства вечной красоты и божественного молчания, он все-таки, все-таки проносил над затаившейся землей спрятанную — в себе? во мне? — эту реальную нереальность: умерла мама.

Слеза капнула в кофе. Еще одна по щеке добежала до самой шеи. Шекотнула кожу.

Интересно, вкус кофе изменился или нет?

— What are you doing now?.. Can I help you? — спросил рыжий иностранный человек.

— Thank you. Я не могу с вами разговаривать. У меня беда. Моя мама умерла, — сказала я.

Не надо было бы мне этого говорить. Перед ними. Жилистые, голые, волосатые ноги.

Хотя однажды — почему не сейчас? — мне все-таки следовало сказать. Хотя бы самой себе. Вслух. Чтобы поверить.

Еще немного, и я задохнусь.

Иностранцы молча смотрели на меня — кажется, они что-то обо мне поняли. К тому же эти мои слезы. Для кого? Для них? Для всех нас?

Обо всех нас?

Самый старший из сидевших протянул мне полный бокал:

— Выпейте, девушка, немного легче станет.

Его русский язык был чист и точен, каким бывает всякий язык, выученный по учебнику. Похоже, что переводчик.

— Это что? — спросила я, заглянув в протянутый бокал.

— Водка! — сказал он с гордостью, но тут же и чуть поежился, сообразив, кому и что он все-таки предлагает.

— Я не пью.

— Честное слово, это вам поможет...

О, этот всегда убеждающий русский язык, это всегда и всех понимающее русское слово... Как же я люблю тебя, русский язык, язык мне совсем не родной, но так умеющий все понимать и так вовремя приходить на помощь этим звучанием, похожим на звучание музыки...

Теперь и все русские для нас — иностранцы.

4.

За соседним столиком послышался шум: девушки по-женски бестолково делили себя между многообещающими фермерами-рыбоводами.

— Нет, ты скажи мне... — то и дело встревал в их ссору самый усатый из рыбоводов, с блестящими от жира губами. — Нет, ты скажи...

Этот — ставил на местную. Яркую, но, похоже, с небольшим опытом обольщения. Один колорит. Но нужен ли он усатому — этот многообещающий, но обманчивый колорит? Липучка для

ловли мух. Нет, ему нужно другое. Длинные ноги, которые знают, для чего они растут. Телевизионный стандарт способнее на развлечения. А рыбоводы — простаки, отстали от информации.

— Все, — наконец произнес человек с нормальными, сухими губами. — Я люблю тебя... Договорились?

Похоже, что — да, кажется, они договорились. А жирногубый — еще не понимая того — просчитался...

Первая пара покинула стол.

Прощайте, трудно заработанные деньги фермера-рыбовода. Нет, чтобы не думать еще и об этом, все-таки действительно следовало выпить. Приглушить всю эту, с утра накапливающуюся, тоску, эту непонятную злость.

Водка обожгла горло и понеслась к желудку, уничтожая все побочные ощущения, переживания, недоумения и желания. Даже желание просто дышать замерло, не осуществившись. Мне показалось, если я глотну воздуха, он еще сильнее обожжет меня изнутри.

Я поперхнулась. Закашлялась.

— Я сейчас. Ничего. Простите меня.

— Не извиняйтесь. Это как лекарство. Должно помочь. Наверное, все-таки не зря христиане на своих поминках хорошо напиваются.

И иностранцы за соседним столиком засмеялись.

От новых, опять подступивших слез, глазам сделалось горячо.

Люди из рыбсовхоза смотрели на меня пристально.

— Что с тобой? — вдруг спросил один из них, покачиваясь на стуле и успев бросить недвусмысленно враждебный взгляд на все еще улыбающихся иностранцев.

— Ничего, выпила водки, оказывается, очень горькая.

— Вот это да. Что же ты за девушка такая — чужие предлагают, и ты пьешь. Совсем, что ли? Водку хочешь пить — иди к нам.

Снова закрыв глаза, я сказала ему “нет” и покачала головой.

Он будто не слышал моего ответа.

— На, пей.

— Отстань, не бреди рану... Я раньше никогда не пила. И у них не спрашивала.

— А ты эту попробуй. Наша, нукуская водка, знаешь, ее даже в Москве пьют, — гордо проговорил рыбак-рыбовод, впрочем, уже не глядя на меня, словно разговаривая с самим собой.

Ох, уж эта мне национальная гордость. Иностранцы заинтересованно следили за развитием событий. Наши дебаты их явно продолжали веселить. И сделалось смешно — не стану ли я причиной “холодной войны”? Из истории известно, что все войны начинались из-за женщин. Из-за них и в наших азиатских краях, как повсюду, и реки пересыхали, и цветущие города превращались в руины. И если бы какая-нибудь наша черноволосая и узкоглазая Клеопатра была бы еще и кривоногая, то и история Азии, как история все той же Европы, была бы написана по-другому. История банальна, словно философствование под чужую водку.

— Отстань. Тебя, вон, красавица ждет. А у меня умерла мама. Понимаешь, не до разговоров. Помолчи лучше. И я, вот, к ней еду...

Странно, но лицо рыбака вдруг сморщилось. Черными и грубыми руками он потер возле глаз.

— Ой, милая ты моя, так у тебя умерла мама? Болела, что ли?.. Или уже была старая?

Спрошено это было с такой неподдельной горечью, что мне показалось, будто не я, а он торопится на похороны, будто не у меня, а у него скончалась мама.

Впрочем, не выслушав моего ответа, он неожиданно снова заговорил сам:

— Слава Аллаху, мама у меня есть. Она говорит, Кусберген, ты жену не балуй, если она тебе будет противоречить, ты ее выгони, а у меня, слава Аллаху, еще силы есть, еще десять раз могу тебя женить.

Похоже, Кусберген был рад, что нашелся человек,

выслушивающий его. Теперь не остановишь. Ну зачем, зачем мне выслушивать его речи о беспрестанных спорах и скандалах между женой и матерью? И быть посвященной в то, что два или три раза в год он приезжает в город к этой своей Оводон и что постоянно тоскует о ней.

— Бери рюмку, милая ты моя, сердце немного охладит. Приедешь ко мне в аул, я тебе дам пару рыбин, отвезешь маме.

— Кусберген, моя мама покинула этот мир, — опять говорю я, злясь.

— Что ты, что ты, душа ты моя! Матери не умирают. Если она сама не сможет есть, то отвезешь на ее похороны. Ты выпей.

Бред какой-то. Но если не выпить, то получится, что я не поддерживаю своего земляка, а других поддерживаю.

Выпила. Внутри опять все раскалилось.

— Нукуская водка очищает. От нее не экологический вред, но одна польза, — без остановки болтал рыбак. — Поэтому-то мы живем по пятьдесят-шестьдесят лет. А сколько среди нас тех, которые не пили? Вот и не дожили до этих лет. И покинули этот мир, как нас покинуло наше море. О, Аллах, зачем Ты оставляешь нас одних? Ты, душа моя, давай, не стесняйся, двигайся к нашему столу. И еще, вот, бери... — добавил Кусберген, неожиданно принимаясь вытаскивать из кармана мятые деньги.

Синие глаза возвратившейся блондинки посмотрели сначала на деньги, потом на меня.

Но я вновь отрицательно покачала головой.

— Бери, бери... Это деньги святые, чистые. Целый год алкаши у меня ловят рыбу только за водку. Деньгами я не беру.

Рыжий русский иностранец нервно поставил рюмку на стол и что-то раздраженно проговорил. Я не расслышала, но, кажется, происходящее ему совсем не нравилось.

Зато отчего-то стало нравиться мне. Внимание двух столов целиком было направлено на меня, на мое настроение.

Страдание эгоистично. И люди почти всегда не упускают момента воспользоваться.

Голубоглазая недовольно пощипывала нарисованные брови.
— Девушка, вам помочь?

Кому это сказано — мне или ей? Нет, пожалуй что мне.

От водки опять всколыхнулась странная нежность к глубинам этой неравнодушной русской души. На меня давно не смотрели с такой доброжелательностью.

— Ничего, ничего. Все в порядке... Они мои родные, каракалпаки... — сказала я, как ребенок, отирая слезы.

Добродушный русский, все еще беспокожно оглядываясь на меня, пытался объяснить происходящее иностранцам, но они, как всегда, ничего не понимали, повторяя лишь заведенное — “what, how that is?”, и пожимали плечами.

Кусберген продолжал насильно запихивать мне в карман шуршащий комок денег, горько обижаясь, что я все еще отказываюсь от двух его виртуальных рыб.

Не надо мне было говорить, что мама любила есть рыбу. После этих слов он еще больше расстроился, совсем уж как малое дитя, совершенно не понимая, отчего это я все-таки не заеду к нему за рыбой для покойной мамы.

Иностранцы с удивлением таращились на Кусбергена.

Обхватив руками голову, я громко рассмеялась.

— Смейся, душа ты моя, смейся. Боль облегчится. Хотя бы наберешься сил, чтобы справиться с нею, ведь когда еще доедешь... А печаль о матери всегда страшна. Она даже и лошадь свалит.

Зачем он сказал это? Ну зачем?

Отныне я совершенно одна. Одна. Вот с этого самого момента. Со слов Кусбергена. Будь ты тысячу раз проклят, рыбак Кусберген, со всеми твоими женами, будущими и настоящими, которые не могут нормально жить.

5.

Из ресторана меня уводили какие-то люди. Кажется, под

предводительством Кусбергена. До самой комнаты.

Когда проходила мимо стола иностранцев, уловила, как тот душевный русский объяснял на английском, что я не сошла с ума, а всего лишь много выпила. Но все равно долговязые иностранцы, подтянув волосатые ноги, наблюдали за мной, настороженно замерев...

Уже в номере мне стало плохо, в голове все смешалось. К тому же едва ли не больше водки меня стало мутить от застоялого запаха комнаты, где вдруг возникали странные женщины в белых платках, из-за которых таксисты протягивали свои черные руки к моей груди. И я убегала от них с криком туда, где лицо женолюбивого рыбака, блестя как лампа, смотрело на меня глазами испуганного иностранца, наблюдающего, как переворачивается тот самолет, в который я села.

— Ойдын! — кричал кто-то снаружи. — Ойдын!

Просыпаясь, я все так же слышала какие-то гостиничные голоса, мало отличимые от пьяных кошмаров, шорохи и ночной смех под окном.

Потом становилось тихо.

Я успокаивалась. Но, вздрагивая, просыпалась вновь — кто-то снова и снова звал меня:

— Ойдын! Ойдын!

Однако же в тусклом коридоре плавала мертвая тишина. Сквозь застекленную дверь дежурной пробивается неяркий свет.

С трудом справившись с древним замком, выхожу на улицу. По всему небу волнистыми переливами посверкивает серебряный огонь. Это — звезды, то и дело прикрываемые облаками.

Я уже вроде бы где-то видела этот пейзаж...

Нет, не могу вспомнить.

Вокруг стоит влажный и сладкий запах то ли близкой воды, то ли цветущих ночью неизвестных мне цветов. Цикады беспрестанно, на одной ноте сверлят ночной звездный воздух. Где-то далеко-далеко рыдают вечно обиженные шакалы.

Я оглянулась. Странно, что огромные двери этой громадной гостиницы, каким-то шутником вброшенной в бескрайнюю выжженную степь, открыты даже ночью...

Черная тень шевельнулась на освещенной стене: голова то ли верблюда, то ли кого-то еще... Померещились холодно сверкнувшие глаза, и сердце сжал мгновенно налетевший ужас. Серебряная ночь тут же исчезла: темнота страшным зверем протягивала ко мне руки, будто хотела, наконец, поймать, заглотив и, пережевав, выплюнуть обратно, туда, откуда я появилась.

Покрывшись горячим потом, не успев понять, сон это или явь, задыхаясь, я бросилась назад, к дверям гостиницы, добралась до комнаты, плюхнулась на постель.

И тут — вспомнила: точно такой же ночной пейзаж я видела сквозь иллюминатор самолета. Кажется, я даже вспоминала именно то место, тот пейзаж на краю земли, где лежали точно такая же степь и то же самое озеро...

Стало спокойней. Только по-прежнему иногда доносился то ли чей-то плач, похожий на смех, то ли смех, похожий на плач.

— Ойдын! — продолжали кричать снаружи. — Ойдын!

Я прислушивалась, ругая себя за то, что не могу заснуть, что мне трудно, почти невозможно вспомнить, где я нахожусь.

Сумасшедший дом! — окончательно разозлившись, подумала я, вскочив со скомканных простыней, и, к своему удивлению, неожиданно увидела, что солнце уже давным-давно в зените.

6.

Вчерашние извозчики будто провалились сквозь песок. Зато крутились другие, как мне показалось, еще более жадные. Договорилась с чернявым, лет тридцати, одетым в слишком уж тонкую для утренней свежести рубаху. Он понял, что я тороплюсь, и поэтому сообразил, что сказать:

— Довезу на час быстрее других. Со мною не опоздаете.

- Наверное, знаешь другую дорогу?
- Моя тайна. Хотите узнать, садитесь!

Лучших вариантов не предвиделось.

Когда я усаживалась в машину, за спиной послышался будто бы плач. Перехватив мой вопросительный взгляд, водитель объяснил:

— Меня зовут Рахим. А это, — он указал пальцем на хрупкую женщину, сидящую возле стены на большой клетчатой сумке, — это Потма... Договорилась тут с одним вчера, а он соврал, деньги забрал, а сам...

Рахим, аккуратной тряпочкой протирая внутреннее стекло машины, почти радостно хмыкнул, будто вспомнил очень сладкую ночь, и добавил:

— ...а сам скрылся с одной девушкой из вашей же гостиницы. Скотина! Вот она и сидит здесь пустая, не может теперь доехать до своих детей.

— Что, она всю ночь здесь просидела?

— Может, и просидела, а может, и нет. Охранник со стоянки пустил, наверное, переночевать, все-таки женщина...

— Просто так? Без денег?

— Да вы что! Все здешние всегда плату берут.

— Какую плату, в каком смысле?

— В прямом смысле, — недовольно покосился на меня Рахим. Вопросы мои ему, похоже, не понравились, и его бровь удивленно приподнялась:

— Не понимаете? Сейчас поймете, а то я не так сказал. Она ведь не совсем женщина... Она из этих, ну, которые сидели, то ли за алкоголизм, то ли еще за что-то... Поэтому с таких как она обязательно берут плату.

Вытряхнув и уложив тряпочку в бардачок, он замолчал.

— Может, возьмем ее, — слегка подумав, спросила я, — если по пути...

— Поехали, Потти! — высунувшись из окна, крикнул разом оживившийся водитель.

— А плату потом просить не будете?

Рахим засмеялся, посмотрел на меня и отрицательно крутанул головой:

— С утра не беру. Поехали. У тебя рука легкая... Или еще чего... И он опять засмеялся.

Мы поехали. И ветер тотчас всколыхнул запах пота и пыли, похоже, годами копившийся в этой машине. Я чихнула:

— Простите, у меня аллергия...

Рахим, включив приемник, откуда понеслась музыка, прерываемая голосом ведущей, усмехнулся:

— Могли бы и не говорить про вашу болезнь. Никто же не спрашивает...

— Это “Эхо долины”. Вы в эфире, Кизлархон? Вы слышите меня? — обращаясь к кому-то из слушательниц, весело зашебетала дикторша. — Я поздравляю вас с праздником, Кизлархон. И у меня для вас подарок. Я, к сожалению, не знаю вашего адреса. Поэтому после эфира обязательно позвоните нам, Кизлархон. А пока послушайте песню Юлдуз Усмановой, которая называется “Не спрашивай меня о моей душе”.

Девушка-диктор замолчала, чтобы дать всем возможность прослушать эту, должно быть, очень хорошую песню. Я тоже попробовала вслушаться в ее слова, если верить веселой дикторше, для все еще “бодрствующих в ночи”, но — не получилось. Мысли, мысли...

Я тоже сейчас как будто бодрствую, я не сплю, я, может быть, всю свою жизнь не сплю. Так мне, по крайней мере, кажется.

А что — если я ошибалась всегда и ошибаюсь теперь?

Два года проработала за рубежом, кое-чего поняла. Стала уверенной и независимой. Чему-то научилась.

Так чего же, чего мне все еще не хватает?

Дергается, пылит машина Рахима. И вместе с нею дергаются мои мысли.

Вчера в ташкентском аэропорту, на своей родной земле, вдруг почувствовала слабость и незащищенность. Тридцать тысяч

сумов² заплатила, получила билет в сторону родного аула. И, почти бегом — времени оставалось мало — почти задыхаясь, помчалась на регистрацию рейса. Но меня тут же остановили. Человек лет шестидесяти, с бейджиком на груди, я не запомнила, то ли Хасан, то ли Теша, послал меня обратно в кассу, невразумительно объяснив, что у меня неправильно оформлен билет, что следует что-то предпринять...

Он еще не договорил, а я уже мчалась к кассе.

Девушка-кассирша, за время моего минутного отсутствия успевшая наслоить вокруг черных глаз новый голубой цвет, не глядя на билет, недовольно сказала, что все оформлено правильно...

Рванула обратно.

Человек по имени то ли Хасан, то ли Теша, как назло, именно в этот момент куда-то исчез. Да и вообще народу стало значительно меньше.

Информационное табло, пощелкав цифрами и совсем убрав их, оставило только: "Рейс 1059". В руках у меня был билет, но я отчего-то все еще не могла по нему вылететь туда, где мой аул, где меня все еще ждали.

Здесь что-то было неправильно.

Неправильно было уже тогда, когда я брала этот, оказавшийся ненужным, билет, сдерживая ком слез, подкативший к самому горлу. Когда у меня потемнело в глазах, но никого из рядом стоящих это не заинтересовало.

Неправильно? Да кому я нужна?! У всех, у всех важные дела. У каждого свое. И у важного деятеля в галстук, почти горизонтально улегшемся на его толстый живот. И у этих торговцев, с их бесчисленными клетчатými сумками. И у болезненно оберегающих свою гулку дойру³ столичных пижонов-артистов, явно спешащих в кишлак на какой-нибудь

² Сум — национальная валюта Республики Узбекистан.

³ Дойра — узбекский народный музыкальный инструмент, напоминающий бубен.

бешик-той⁴, чтобы неплохо подзаработать.

У всех не было времени.

Мысли, мысли, опять целое море мыслей. Когда-нибудь я в них утону.

Сидевшая на заднем сиденье Потма, как называл ее Рахим, увидев, что я все еще прикрываю рот и нос, протянула мне платок. Он был очень красивым, этот ее платок. В бахрому были красиво вшиты разноцветные бусинки. И сердце опять заныло — платок напомнил мой аул, детство. Я тоже когда-то подарила своему любимому парню вот такой же точно платок.

Я должна была ей что-то сказать, как-то поблагодарить:

— Фатима, а почему вы здесь ночью остались?

— Ой, сестренка, да разве такое кому-нибудь интересно? Вас как зовут?

— Ойдын.

— Ойдынжон, это всего лишь дела, дела, сестренка...

Рахим беспокойно заерзал, зачем-то потрогав матерчатый треугольничек талисмана-тумора, с зашитой в нем священной бумажкою — строкой из Корана, который покачивался под зеркалом заднего вида.

— Я вам скажу... Перед вечером, лишь чуть-чуть стемнеет, я прихожу домой и ложусь спать. А в полночь уже просыпаюсь. Часов до тех готовлю мясо и тесто для пирожков, потом начинаю их лепить...

— Никто не помогает, что ли?

Говорю машинально, взглядываясь в дорогу, стремительно выкатывающуюся из желтой степи нам навстречу. Жигуленок шарахается в сторону от пролетающих мимо тяжелых грузовиков.

— Помогают. Как же не помогают? Муж вот от мясника приносит мясо подешевле.

⁴ Семейный праздник, посвященный свершившемуся обрезанию мальчика.

— Ее мужу, Джаббару, каждый день кайф! Живет, будто на курорте. Как придет с базара, нажарит мяса и опрокинет бутылку, — почти что завистливо, во всяком случае, нежно проговорил Рахим.

— Да чтоб он сдох. Я ему говорю: ты проживешь полжизни. Ведь это он до обеда идет на базар... Делает вид, что если б не он — кто еще принес бы для меня мясо и лук?..

— Почему же полжизни? — удивленно спрашиваю я.

Водитель вновь оживился.

— С парой приятелей по три пиалы пропустят, да еще с горячей самсой!

— Чтоб он подавился этой самсой. Я всегда говорю — он живет до обеда. После обеда спит мертвым сном.

— Так вы хорошо знаете и мужа Фатимы? — спросила я, полуобернувшись.

Тот промолчал.

Машина, уворачиваясь от встречной, скользнула к обочине, подскочила... Голос веселой радио-девушки — “Вы меня слышите?” — прозвучал с новым восторгом, но после скачка сбился и ушел на другую волну.

В салоне запахло жженой резиной и близким асфальтом.

Несущаяся навстречу дорога стала казаться темным волнующимся миражом. Какие-то невзрачные, взъерошенные птицы (должно быть, тоже жертвы экологии, — подумала я) пересекли ее поперек.

— Рахим был таким же другом Джаббара. Да ему повезло — брат дал машину, вот и он стал человеком, — лениво всматриваясь в дорогу, проговорила Фатима.

— Однако, сестричка Ойдын, как бы там ни было, все без предательства. По общему согласию. Лучше, вон, гляньте — какие верблюды идут... — проговорил Рахим с гордостью, хитро взглянув на Фатиму через все то же зеркало заднего вида.

— О, чтоб и ты сдох тоже! Сегодня не предашь, так завтра... Знаем мы вас, — грустно вздохнула Фатима. — Я и с другими

шоферами каждый день езжу по этой дороге на их дальнобойных машинах. Не все же ему одному. Поэтому он и говорит так. Что же мне, на плечах, что ли, все таскать, чтобы потом спину сузьмой⁵ мазать?

В машине сгустилась раздраженная тишина.

Два человека, мужчина и женщина, измученные жизненными невзгодами и притупившимися чувствами, замолчали, прекратив привычную перепалку о тех вещах, которые были известны только им двоим. Да еще этой дороге, на которой, похоже, вообще протекало все их существование.

Интересно, а как же их матери — живы ли? — подумала я.

За окошком пейзаж почти не менялся. И вдали, и вблизи от дороги все те же пыльные бараны щипали пожухлую, хотя пока еще влажную утреннюю траву. То там, то здесь мелькали небольшие одинокие домики. Верблюды со скомканной шерстью и обвислыми горбами, сисясь что-то понять, внимательно всматривались в разогретые металлические коробки, шумно просвистывающие мимо них.

Увижу ли я когда-нибудь снова эти места? Вернусь ли сюда когда-нибудь еще?

— Фатима, а вы не боитесь скандала? Ведь, наверное, и дети, и муж вас вчера ждали, беспокоились? Может, лучше нам с Рахимом зайти объяснить?

Рахим громко расхототался и в восторге застучал по рулю:

— Ее муж будет рад, если она не придет вообще! Припрятанные бутылки с друзьями-приятелями лучше совсем без нее распивать. А потом выполнять план по сну. Верно, Потма?

Фатима делала вид, что смотрит на дорогу. Молчала. Наконец вздохнула:

— Зачем ты так говоришь? Джаббар всегда беспокоится. И дочки меня ждут.

Ее глаза влажно заблестели.

— Ой, не знаю... Знаю другое: одна ли ты домой приедешь,

⁵ Сузьма — кисло-молочный продукт, напоминает творог.

или с кем-нибудь, Джаббар, наверное, ничего не скажет, — проговорил Рахим, задумчиво щуря глаза и вглядываясь в дорогу.

— Ты на себя посмотри и говори о себе, а не суй нос в чужую жизнь. Мои беды не тебе решать!

— В эфире радио “Навруз”, — будто проснувшись, снова включилось радио. — Дорогие радиослушатели, с вами сегодня я, Музаффар, ведущий нашей интересной программы. Начинаем любимую нашу игру: “Да, или нет?”. Вы готовы? Нет? Ничего страшного. Сосредоточьтесь... Пока же для вас прозвучит еще одна красивая песня...

— Я — пас! — поднял руку Рахим и совсем замолчал, вглядываясь в мчащийся навстречу мираж, такой далекий от всех этих мирских дел.

Стало слышно, как Фатима сначала принялась нервно открывать и закрывать молнии на лежащей под ногами клетчатой сумке, потом зашуршала какими-то бумажками, должно быть, оставшимися от завертывания пирожков.

Может ли быть и мне интересно то, о чем эта женщина думает и мечтает в свои вечера?

Мотор надсадно урчит, машина карабкается на гору.

Солнце уже поднялось. Утренняя чистая красота постепенно рассеивалась. И степь, раскручивая дорогу, будто ремень вдоль своего жаркого тела, все больше и больше обретала бесцветный и мало соблазнительный вид.

— Ойдынжон, вам сколько лет? — слышалось сзади. — А детей у вас сколько?

— Тридцать восемь лет. А детей трое.

Ответила сухо. Вопросы, касающиеся моей личной жизни, никогда мне не нравились.

— Тридцать восемь? — переспросила Фатима с отчаянием. — А мне — тридцать два...

Рахим, зло просигналив белому “Москвичу”, почти перерезавшему дорогу, безжалостно вдруг добавил:

— Тут и всякая, продавая свои пирожки каждый день под

этим вот, нашим солнцем, сморщилась бы, как продубленная кожа.

Сказал так, что я тотчас же поняла — это он не про нее, это он про меня: сидит в кабинете, вовремя ест, отдыхает, спит. Да еще нет у нее такого мужа — пьяницы дурного.

Фатима приняла его слова молча. Каждая женщина разговоры о чужом возрасте и чужой красоте принимает с болью.

— Уходи из жизни моей, уходи. Уходи из желаний моих, уходи. Я не могу больше терпеть эти мучения. Не мучай меня, уходи из моей жизни, уходи... — разносился голос певицы Мавлюды Асалходжаевой по бескрайней степи и бесконечной дороге.

Мы остановились.

— Мотор перегрелся. Пока отдохните, попейте воды, — сказал Рахим.

7.

Неподалеку от нас точно так же стояли другие машины, автобусы. Теснились грузовики. Разминающиеся пассажиры толкались у киоска с минеральной водой и какими-то обязательными продуктами. Перебирали, разглядывая свежие овощи и зелень, постоянно промываемые продавцами от неминуемой желтой пыли.

Базарчик растекся прямо посреди пустыни, и я не могла понять, откуда взялись все эти продавцы и все их товары, и этот сладкий, ласкающий запах, ведь поблизости не было видно ни аула, ни кишлака.

Девушка, украсившая тоненькую руку браслетом из живых, чуть подвядших цветов, продавала айран со льдом. В белом ведре плавали его прозрачные кусочки и ветки райхона-базилика. Возможно, это райхон так пахнет? Как же я не узнала его?

Душа запросила пить. Ей очень, очень захотелось пить. Но я все-таки не подошла к стоящему возле девушки ведру: живя в городе, отвыкаешь от того, что сделано чужими руками, что

сохраняет живой, но чуждый тебе запах чужой жизни.

Отойдя от соблазна подальше, огляделась вокруг.

И опять внутри что-то оборвалось — чуть-чуть поодаль располагалось кладбище. Вот почему, наверно, здесь этот странный запах.

Человеческий запах...

Мне ли не знать, что здесь, возле Арала, из-за близости подземных вод мертвецов кладут во что-то похожее на сундук и хоронят над землей...

Вот они. Все они здесь.

Разноцветные бунчуки, кое-где замененные на давным-давно выцветшие тряпки на шестах, торчащих над могилами, отмечали последнее пристанище тех, кто собирался перейти в вечность. Увенчанные этими шестами бесцветные и пыльные надгробные мавзолеи издали напоминали средневековые небольшие парусники, готовящиеся к отправке с экипажем из молодых и старых, из больных и здоровых людей...

Всех их, со всеми их сбывшимися и несбывшимися мечтами безропотно взяли на борт эти безымянные корабли.

Скоро и мама моя станет пассажиром такого же безымянного корабля.

Вот и опять пришла боль. Вот и опять внутри остро кольнуло: я все еще не там, я все еще не с ней, не с мамой. Я все еще не добралась до своей родины. Тысяча проклятий тому, кто сподобил меня родиться в такой далекой ото всех стороне.

8.

Едва машина тронулась с места, Фатима подтолкнула меня локтем и кивнула, посмотри, мол...

— Ее зовут Оводон.

Я оглянулась. За одним из придорожных столов сидела та самая девушка, что на моих глазах увела к себе кого-то из друзей вчерашнего фермера.

Рахим, опять отчего-то радуясь, сказал:

— И эту уже обсосали.

Оводон сидела одна, но проходящие мимо машины то и дело сигналили ей.

Фатима отвернулась, чтобы не смотреть, тихо заметив:

— Чтоб всех этих мужчин съело море.

Оводон сидела, о чем-то задумавшись. И, несмотря на то, что воздух постепенно становился все горячее и горячее, что ее голубое платье трепало все сильнее раскаляющемся ветром, мне показалось, что ей холодно.

— Заберем бедолагу, — ни к кому, собственно, не обращаясь, сказала я. — Если будет здесь долго сидеть, совсем сгорит на таком солнце.

— Ойдын, сестренка... Такие на дороге не останутся. Посмотрите на нее, — сразу видно, что проститутка, — заметила торговка пирожками, внутренне отчего-то напрягшись.

— Да-а, — высказал свое дорожно-философское мнение Рахим, — сама-то села в машину. А других называешь девушками легкого поведения... Не твой ли приятель обвел бедняжку вокруг пальца, а потом продал другому? Я так думаю, что это девушка с принципами, — наверное, не захотела поехать с этим вторым, вот и осталась на дороге.

И он притормозил:

— Оводон, поехали, если хочешь...

Девушка не сразу поняла, что ей предлагают. Растерявшись, рассеянно посмотрела на нас, но, поняв, показала в противоположную сторону:

— Нет, я назад...

— Зачем тогда на солнце сидишь? Пересядь в тени, на обратном пути

заберу... — очевидно раздражаясь от ее глупости, произнес Рахим.

Девушка улыбнулась, дернув плечами. Она была еще очень молода, смотрела на мир детскими глазами. И, почувствовав, что

мы не имеем плохих намерений, кажется, просто обрадовалась нашим словам.

— Спасибо, — в голосе Оводон я уловила оттенок извинения, с которым маленькие девочки просят у своих матерей прощения за весь их обидевший мир.

Прошел большой автобус с громкой музыкой.

— Стерва, — сказала Фатима с горечью в голосе.

— Сама ты стерва. Только про себя и думаешь, — откликнулся Рахим, снова зло взглянув на нее через зеркало заднего вида.

Толпящиеся подле ларьков люди, их чем-то наполненные сумки, автобусы, до самых окон набитые дорожными узлами, огромные грузовые машины, уткнувшиеся друг в друга, шустрые продавцы штучного товара, снующие между ними, — все они очень скоро остались позади. Мы снова строились в журавлиный ряд машин, несущихся в сторону Амударьи.

Рахим, полностью ушедший в себя, гнал, как мне казалось, со скоростью более ста километров в час. Машину швыряло из стороны в сторону. И Фатима на заднем сиденье, и ее узелок, и ее сумка мотались от окна к окну.

— Езжай потише, ты что, не успеваешь?

Рахим же словно бы и не слышал. Машина виляла из стороны в сторону, мотор ревел, заглушая слова Фатимы:

— О, чтоб ты сдох... О, чтоб ты сдох!..

Справа промелькнуло еще одно старое кладбище. Впервые в жизни я обратила внимание на то, что в родных моих местах, оказывается, так много кладбищ.

Еще не было и десяти часов, когда мы вдруг остановились перед узким мостом через полувысохшую реку. Что-то на нем произошло.

Рахим, вышедший узнать, что случилось, вскоре вернулся:

— Сестренка, идите смотреть! Умрете от смеха. С того берега невесту везли. А с этой, ей навстречу, жених ехал. Да, пока ждал, немного перебрал, вот и упал в реку... Теперь в ней сидит и орет из воды: “Куванчой, Куванчой, душечка, я здесь!”

А по берегу невеста в белом платье бегает... Вот-вот ползет к нему... Там еще автобус стоит. Туристы из Японии. Возвращались из Аезкалы, остановились, фотографируют.

Всю свою жизнь проведшая на базарах и ставшая охотницей до таких представлений, Фатима не смогла усидеть и тут же побежала к мосту, чтобы разглядеть все поближе.

Я тоже посмотрела в ту сторону...

По обеим сторонам реки стояли машины и толпились кричащие люди.

У матери наших рек, у Амударьи, воды давно уже стало совсем мало, и уже давно посредине ее бывшего русла стали виться многочисленные песчаные островки. Если не считать нескольких лодок, уткнувшихся в самый берег, все остальные, особенно старые баржи, когда-то гордо ходившие с поднятыми флагами по ее фарватеру, теперь валялись среди песка, полузанесенные илом, и ржавели. От солнца и непрерывно шуршащего по бортам песка у них начисто отшелушилась краска. И все они стали похожими друг на друга, как уже умершие люди, — все те же безымянные корабли.

Только на двух, как мне показалось, я смогла разглядеть надписи: “Арал” и “Аму”.

Мост же оставался точно таким, каким был, когда я шла по нему пять или шесть лет тому назад. Такой же длинный, такой же узкий. С таким же количеством еще живых лодок, привязанных к сваям, покачивающихся на последней воде. Когда по нему ползли тяжелые машины, он по-прежнему весь дрожал и почти до самого настила окунался в воду.

Ни жениха, ни невесты издалека было не разглядеть. Зато было видно группу людей, судя по очкам и головным уборам, тех самых японцев.

За мостом начинались мои родные места, и сердце стало биться совсем-совсем часто.

Завели машину и, объезжая кричащих и фотографирующих, кое-как двинулись вперед.

— Если бы я приносила свои пирожки сюда каждый день, то продавала бы по пятьсот или даже по шестьсот пирожков, — с сожалением проговорила еще не успевшая отдышаться после толкотни на берегу Фатима.

Когда мы спустились с моста, что-то треснуло, похоже, наша машина зацепила какую-то старую железку. Рахим поморщился как от зубной боли.

— Невеста с женихом, оказывается, студенты, из университета, — продолжала рассказывать Фатима. — Счастливые. Одна старая японская семья, муж и жена, подарила им триста долларов. Чтобы они купили себе чего-нибудь. Жених не хотел брать, но один старик, стоявший там, сказал ему: “Бери, бери сынок. Это тебе подарок от Аму-реки, он станет началом твоих богатых дней”. И жених взял деньги, чтобы отдать невесте.

9.

Прежде, чем подъехать к моему дому, мы не могли не свернуть к низеньким строениям, стоящим среди рисовых полей, — чтобы оставить здесь Фатиму. Это оказалось вовсе не просто: женщина принялась уговаривать нас, чтобы мы хотя бы попили у нее чая.

— Фарш готов, две-три минуты — и вы даже поедите моих горячих пирожков, — уговаривала она.

Я не удивилась, я знала: здесь все люди такие — даже если у них нет хлеба для себя, для гостя — зарежут хоть курицу, хоть барана.

— Похоже, что горячие пирожки и без тебя здесь уже приготовили, — многозначительно произнес Рахим, выгружая вещи Фатимы и поглядывая в сторону дома.

У его выбеленной стены на супе⁶ под чинарами сидело несколько человек; ясно, что выпивают. Однако, увидев нас, вежливо поднялись и пошли навстречу.

⁶ Глиняное или же деревянное возвышение возле стены, служит для отдыха.

— С утра налакался, собака, — запричитала Фатима. — Все, что я нахожу, все, что зарабатываю, он тут же пропивает с друзьями, сволочь...

— Не обращай внимания, Потти, и не обижайся. На мужа нельзя обижаться, раз он твой муж, — тихо произнес Рахим.

Взглянув на него, Фатима грязными руками сразу же отерла уже ручьем катившиеся слезы.

— Если через пару часов успеешь приготовить пирожки, то на обратном пути я тебя заберу, — в масть своего имени добавил Рахим⁷.

— Видно, судьба моя проклята, раз мне пришлось выйти за него замуж... А вы проходите, проходите, дорогие гости...

— Поттиночка, — наконец засуетился и ее муж. — Мне вчера стало так плохо, когда я узнал, что ты не приедешь. И ночью спал плохо, и от этого на базар не пошел. У Завры горло болело, тоже всю ночь не спала.

Поток его слов, казалось, ничто не смогло бы остановить. Их было столько, что могла бы позавидовать и река Аму в лучшие свои годы.

— Проходите, проходите, опа⁸. Только что приезжал с базара Нуриш-мясник. Сам приезжал. К обычному мясу прибавил еще легкие, морду, уши... — быстро-быстро бормотал он, несомненно, оправдываясь перед ней, но не забывая и о нас, умоляющими глазами говоря: “Зачем же ты так, при посторонних”.

Когда-то, видать, он был стройным и статным, ее Джаббар, теперь же от этой стройности совсем ничего не осталось. А оттого, что еще и выпали передние зубы, губы после каждого слова делались мокрыми, и он беспрестанно вытирал их.

Фатима, не сумев до конца остановить слезы, дрожащими руками открывала свою клетчатую сумку.

Я отвернулась.

— Здравствуйте, Ойдын-опа, — подбежал ко мне

⁷ Рахим (узб.) — в дословном переводе — милосердный.

⁸ Опа (узб.) — сестра.

молоденький паренек. — Вы меня не узнали? Я — внук Эгама, художника. Вы не поехали к Урта-куль?

— Да зачем мне в Урта-куль? Что мне делать в Урта-куле? Еду к себе, в свой аул...

— Выходит, вы ничего еще не знаете? Так ведь ваша мать умерла в Урта-куле, куда она поехала навестить вашу бабушку, и все наши люди уехали туда же.

Теперь даже пьяницы смотрели на меня с сожалением.

— Еще и то плохо, — заметил один из них, явный здешний франт, похоже, страдающий всезнайством, — что теперь вашу маму сюда не пропустят и здесь не похоронят. Там станут хоронить. Граница... Нужно в объезд. Да, может, и хорошо — на том берегу озера кладбище выше. А все наши кладбища скоро совсем уйдут под соленую воду. И если у ваших родственников есть там знакомые, то и ваша мама будет лежать среди них, на сухой земле...

Мне опять стало худо... Совсем худо.

— У парня с головой, видно, не все в порядке, — вмешался еще кто-то. — Какая там у них “сухая земля”? Не может этого быть. Тот берег вообще уже весь засолился. Последнее время у моей бабушки во дворе, она как раз там живет, после дождя лужи несколько дней не рассасывались...

Собравшиеся на несколько мгновений замолчали.

Молчание нарушалось лишь словами трехлетней дочери Фатимы, повисшей на шее у матери, беспрестанно и бессмысленно, наверное, в температурном бреде, все повторявшей:

— Опа, опа... Арбуз, арбуз...

— Очень плохо, — проговорил все понявший и потому ставший как будто добрее Рахимбай. — Как же вы теперь пройдете через границу? Часов в двенадцать уже и табут⁹ понесут... А ведь когда-то через эти места проходили играючи... Теперь — только через КПП и вокруг...

⁹ Табут — погребальные носилки.

Он с болью и сожалением посмотрел на меня.

Все молчали.

Первой неожиданно пришла в себя Фатима — поняла, что моя боль сильнее всех ее невзгод. Словно это ее, а не моя мама умерла в эти дни: в моих краях все люди такие — чужую боль принимают как свою. Она потянула меня за рукав:

— Сестренка, вы ведь со вчерашнего дня ничего ни ели. А вам еще долго быть на ногах. Особенно сегодня... Пошли, сестренка, выпейте пиалу чая с молоком. Иначе свалитесь.

И в этом ею дважды произнесенном слове — “сестренка”, теперь слышался совсем другой, ставший семейным, смысл.

Пьяные глаза Джаббара тоже как будто заблестели живее:

— Пойдемте, опа! У Потмы легкая рука. Она, действительно, прекрасно заваривает чай с молоком.

Мне все же показалось, что проговорил он это не без тайной надежды человека, поскорее желающего выпить еще.

— Прости Фатима, в другой раз. Сейчас в рот ничего не лезет. Я все-таки попробую добраться в центр. Может, не опоздаю...

— Тогда подождите, опа, — она бросила свои сумки и побежала в дом.

Больная девочка, стоя на земле, молча озиралась вокруг. Непонятно, чего она ждала или хотела.

Собутыльники тоже приумолкли. Видимо, ждали, когда им дадут продолжить застолье.

10.

Обнимая дочку, Фатима смотрела мне вслед, беспрестанно смахивая слезы. Теперь она плакала уже из-за моего горя..

На коленях у меня лежала еда — помидоры, яблоки, хлеб.

Рахим молча ел помидор с куском лепешки.

Чтобы попасть в кишлак, где когда-то я родилась, надо было свернуть направо. Чтобы попасть на похороны, требовалось ехать в другую сторону — к пограничному пункту, за которым

начиналась территория соседнего государства, — точно такой же солью присыпанная земля.

Вдоль дороги проносились дома, где жили спокойные люди, которые —

я видела — как всегда неторопливо ухаживали за скотиной, покрикивали на играющих детей. Женщины пекли золотые хлебные лепешки, укутав платками от солнца и от чужих глаз свои до черноты смуглые лица.

Смогу ли я когда-нибудь вернуться в свою прежнюю жизнь? Нет, не об этом надо думать. Не об этом.

К границе подъезжали совсем медленно. Вплотную друг к дружке ползли груженные машины, густыми человеческими ручьями стекались к одной единственной пропускной точке люди с тяжелыми сумками. Поодаль стояли таксисты-извозчики, привезшие сюда таких же, как я, пассажиров и теперь ожидавшие клиентов на обратный путь. Там, где когда-то в детстве я свободно бегала и играла с подружками, появились большие здания, протянулась колючая проволока.

Хладнокровные молодые пограничники, неторопливо возясь с документами, то и дело покрикивали на стоящих в очереди людей, призывая их к тишине и порядку. Человек тридцать, а то и сорок оказалось передо мной...

— Ой, опа, тут вы до вечера простои́те... — невесело произнес Рахим, выйдя из машины и оглядев пространство. — Пойду, поговорю с шоферами.

Скоро он возвратился:

— Сегодня контроль совсем строгий. Никто не знает, почему. Может быть, сами к начальству подойдете? Покажете билет на самолет. Про маму расскажете... Все же мусульмане, может, и пропустят.

Обойдя очередь, подошла к пограничникам, чтобы показать им паспорт, билеты, чтобы, наконец, сказать им:

— Я здесь родилась.

Заплаканные глаза я спрятала за стеклами темных очков.

— Понимаем, опа... Однако теперь — вы гражданка другого государства. Есть ли у вас телеграмма о смерти вашей матери?

— Нет, телеграммы нет, ночью мне позвонили... Когда горе случается, кто же вспомнит о телеграмме? Утром с таким трудом достала билет, прилетела... Может...

— У нас все официально, опа.

— Братишка, я должна успеть к двенадцати. Я — Ойдын Джахонова.

— Я вас узнал, опа, но — ничего не могу поделатъ... Приказ.

Начальник таможенников как назло оказался болен. Я металась среди больших и маленьких людей, среди новостроек, среди лабиринтов из колючей проволоки, напоминая самой себе песчинку в стеклянной колбе песочных часов.

Время подошло к двенадцати. Стоя перед очередными железными дверьми, я в сотый раз все то же самое попыталась объяснить очередному служащему средних лет, лишь обреченно добавив:

— Пусть наша Земля споткнется и не сделает очередной оборот, если я не успею к двенадцати...

И он, кажется, понял меня и повел, как я думала, к самому главному на сегодняшний день человеку.

Им оказалась еще одна молоденькая девушка.

И снова я услышала про телеграмму.

— Сестренка, — сказала я, — у меня в кармане сорок долларов. Берите их, но только пропустите. Я помолюсь за вас, чтобы ваша мама никогда не умирала.

Девушка долго молча смотрела на меня. Ей не было слышно, как я сейчас молилась всем богам мира: “Если вы есть, помогите, чтобы я в последний раз увидела мою маму”.

До двенадцати оставалась каких-нибудь пара минут.

Мимо меня проезжали счастливо миновавшие контроль груженные машины, шли люди с чемоданами и коробками, оказавшиеся здесь накануне, намного раньше меня. Я отчетливо видела деревянные ворота бабушкиного дома, из которых сейчас

выносили покрытый каким-нибудь маминым ярким халатом табут. Саму бабушку — старую, высохшую как палка. Видела, как она стоит лицом к мужчинам, уносящим на кладбище тело ее мертвой дочери, закрыв при этом глаза. Слез ее за всю мою жизнь я ни разу не видела.

— Вы что — мне еще и взятку предлагаете? Неужели не понятно, что даже за тысячу долларов, раньше чем проведу оформление, я не пропущу вас...

“Даннг!” — сказали мне вслед часы, равнодушно висящие на крепкой стене.

Все было кончено. Я чувствовала себя самым ничтожным человеком на свете.

11.

— Может, поищите какие-нибудь другие пути? — явно извиняясь, произнес тот самый таможенник средних лет, что привел меня сюда.

— Со своим паспортом ты, может быть, и попадешь в Америку, но здесь ты не сможешь попасть никуда, — сказала, посмотрев на меня, незнакомая женщина. — И не плачь, не плачь... Мама тебя видит... Не надо ее расстраивать.

Еще десять минут назад, когда меня проводили мимо этой самой женщины, она прокричала мне вслед: “Почему ты проходишь без очереди, и не стыдно тебе?”

На улице меня все еще ждал, похоже, тоже измученный, терпеливый Рахим:

— Опа, как думаете, на какое кладбище понесут вашу маму?

— У Фатимы говорили, что на самом берегу Урта-куля, на кладбище Кара-ходжа.

— Пойдемте, я знаю, что делать... Хоть поглядите, как ее проносят. Тут есть дорога, прямо рядом с границей, оттуда все видно.

Машина рванула с такой скоростью, что я чуть не расшибла

лоб о ветровое стекло. Старый жигуленок визжал, трещал, шипел, казалось, что он вот-вот развалится. Перелетая с ухаба на ухаб, мы пронеслись мимо длинных рядов тонкой колючей проволоки и через несколько километров резко остановились, почти погребенные облаком собственной, поднятой нами же пыли, обрушившейся вослед.

С той стороны колючей стены никого и ничего не было видно.

Несколько пыльных, лохматых кладбищенских собак деловито бродили среди потрескавшейся глины могильных холмов.

Был конец весны, немногим более прохладной, чем подступавшее лето. Большинство деревьев и кустов еще сохранили живые нижние листья, но верхние уже подсыхали. Скоро они опадут и смешаются с прошлогодними, такой же усталый, знойный степной ветер погонит их через дорогу.

И по ту, и по эту сторону проволоки стояла напряженная, горячая тишина.

— Опоздали. Наверное, они уже прошли, — сказал Рахим, отвернувшись.

Слез по-прежнему не было. Я стала песочными часами, в которых закончился весь песок. Я тонула в тишине подступающего безумия.

— Возвращаемся, — произнес Рахим и машинально включил радио.

— Дорогие радиослушатели, я — Музаффар Мирзабеков, и я очень вас всех люблю. Да не оставит Аллах всех нас Своим покровительством. Будьте здоровы. На сегодня я с вами прощаюсь. До завтра...

Загудел мотор, мы разворачивались. В лицо ударил горячий ветер, показавшийся мне ледяным.

— А это не они? — вдруг тормознул Рахим. — Посмотрите, знакомые есть?

Он подогнал машину почти к самой проволоке и остановился.

Ни одного знакомого лица. Ни одного.

Вот они близко, совсем близко... Люди, несущие табут, в котором может быть моя мама.

Да, это они. Я вдруг узнала и младшего братишку, и зятя Базарбая.

Но все равно — это шли какие-то не мои, какие-то совсем-совсем чужие люди. Сознание не возвращалось.

Не слыша саму себя, но все же продолжая шептать: “Мама, мама...” — я бессильно двигалась к колючей проволочной стене.

— Мама, вы слышите меня, мама, это я — Ойдын.

Люди по ту сторону меня не видели и не слышали. Лишь медленно отдалялись, унося табут словно военную тайну, не подлежащую здесь, на границе, разглашению.

— Эй, дорогие! У вас там не Бекпошша-опа? — крикнул им вслед Рахим сорвавшимся голосом.

Люди сбавили шаг, стали оглядываться.

— Подойдите поближе, тут рядом Ойдын-опа, ее не пропустили через границу.

Черная колонна приостановилась. И, кажется, что-то поняв, вдруг начала осторожно приближаться к нам. Близко, совсем близко.

— Мы слышим, слышим... Ойдын-опа, вот ваша мама.

Но мамы не было. Вместо нее на чужих плечах раскачивался узкий продолговатый ящик, покрытый красным, незнакомым мне бархатом. Маленький безымянный корабль.

— Мама, мамочка, я приехала, — вроде бы очень громко говорила я ей, но не слышала собственного голоса.

— Доченька, брось сюда горсть земли. Твоя мама не должна уходить с открытыми глазами. До последнего тебя ждали. На полчаса позже вышли. Но теперь прости: скоро поднимется сильный ветер, не даст нам закончить.

Ни лопаты, ни даже детского совочка. Руки царапали задубевшую земляную корку, в ладони впивались сухие колючки, песок скрипел под ногтями — и все. И тогда Рахим, разжав мои пальцы, положил мне в ладонь пыльную пригоршню

просыпающейся сквозь пальцы земли. Я кинула ее в сторону маминого табута, но она рассыпалась, даже не долетев до него.

Осталось лишь облачко пыли. И тогда я вспомнила про свою сумку, она должна была валяться где-то рядом. И про мамин платок. Шелковый голубой платок. Она хранила его с тех дней, когда еще только-только стала невесткой. Потом отдала мне. Ничего не сказала, но я поняла, что она хочет, чтобы я сохранила его для ее похорон.

Вот он, у меня в руках. Я попробовала перекинуть его через ограду, но он оказался легче, чем даже горсть только что рассыпавшейся земли. Повис, зацепившись за проволоку, и сразу же затрепетал на ветру, будто флаг какой-то неизвестной страны.

И тотчас за нашими спинами раздалось:

— Вы нарушаете государственную границу. Это запрещено законом. Немедленно отойдите!

Колонна с табутом вздрогнула, покачнулась и двинулась в сторону чужих могильных холмов.

“Патт, патт” — хлопал на ветру мой платок.

Никто не обернулся.

*Опубликовано в журнале:
«Дружба Народов» 2012, №7
Перевод Усто Али*